

1) В ее комнате было все уютно, миниатюрно и весело. Цветы на окнах, птицы, маленький киот над постелью, множество разных коробочек, ларчиков, где запрятано было всякого добра, лоскутков, ниток, шелков, вышиванья: она славно шила шелком и шерстью по канве.

В ящиках лежали ладонки, двойные сросшиеся орешки, восковые огарочки, в папках засушено было множество цветов, на окнах лежали найденные на Волге в песке цветные камешки, раковинки.

Стену занимал большой шкаф с платьями - и все в порядке, все чисто прибрано, уложено, завешено. Постель была маленькая, но заваленная подушками, с узорчатым шелковым на вате одеялом, обшитым кисейной бахромой.

По стенам висели английские и французские гравюры, взятые из старого дома и изображающие семейные сцены: то старика, уснувшего у камина, и старушку, читающую Библию, то мать и кучу детей около стола, то снимки с теньеровских картин, наконец голову собаки и множество вырезанных из книжек картин с животными, даже несколько картинок мод.

Она отворила шкаф, откуда пахнуло запахом сластей.

- Не хотите ли миндалю? - спросила она.

- Нет, не хочу.

- Ну, изюму? Это - кишмиш, мелкий, сладкий такой.

Она разгрызла орех и взяла в рот две изюминки.

2)- Пойдем в комнату Веры: я хочу видеть! - сказал Райский.

...Райский уже нарисовал себе мысленно эту комнату: представил себе мебель, убранство, гравюры, мелочи, почему-то все не так, как у Марфеньки, а иначе.

Он с любопытством переступил порог, оглядел комнату и - обманул в ожидании: там ничего не было!

...Простая кровать с большим занавесом, тонкое бумажное одеяло и одна подушка. Потом диван, ковер на полу, круглый стол перед диваном, другой маленький письменный у окна, покрытый клеенкой, на котором, однако же, не было признаков письма, небольшое старинное зеркало и простой шкаф с платьями.

И все тут. Ни гравюры, ни книги, никакой мелочи, по чему бы можно было узнать вкус и склонности хозяйки.

- Где же у ней все? - спросил Райский.

- У ней ничего нет.

- Как ничего? Где чернильница, бумаги?..

- Это все в столе - и ключ у ней.

Райский подошел сначала к одному, потом к другому окну. Из окон открывались виды на поля, деревню с одной стороны, на сад, обрыв и новый дом с другой.

3) Он лежал и курил, и потихоньку сочинял, наслаждаясь утробным теплом постели, тишиной в квартире, ленивым течением времени: Марианна Николаевна еще не скоро вернется, а обед - не раньше четверти второго. За эти три месяца комната совершенно обносилась, и ее движение в пространстве теперь вполне совпадало с движением его жизни. ...Небольшой стол у окна можно было тронуть носком ноги, если вытянуть ее из-под солдатского одеяла, а выкинутой вбок рукой можно было коснуться шкапа у левой стены (который, кстати сказать, иногда вдруг, без всякой причины, раскрывался с толковым видом простака-актера, вышедшего не в свое время на сцену). На столе стояла лешинская фотография, пузырек с чернилами, лампа под молочным стеклом, блюдечко со следами варенья; лежали "Красная Новь", "Современные записки" и сборничек стихов Кончеева "Сообщение", только что вышедший. На коврике у кушетки-постели валялась вчерашняя газета и зарубежное издание "Мертвых душ". Всего этого он сейчас не видел, но всё это было тут: небольшое общество предметов, приученное к тому, чтобы становиться невидимым и в этом находившее свое назначение, которое выполнить только и могло оно при наличии определенного состава. Он был исполнен блаженнейшего чувства: это был пульсирующий туман, вдруг начинавший говорить человеческим голосом. Лучше этих мгновений ничего не могло быть на свете. Люби лишь то, что редкостно и мнимо, что крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смердами казнимо; как родине, будь вымыслу верна. Наш час настал. Собаки и калеки одни не спят. Ночь летняя легка. Автомобиль, проехавший, навеки последнего увез ростовщика. Близ фонаря, с оттенком маскарада, лист жилками зелеными сквозит. У тех ворот - кривая тень Багдада, а та звезда над Пулковом висит.

О, поклянись, что -

Из передней грянул звон телефона.

4) Над дверью в следующую комнату висела одна картина, довольно странная по своей форме, около двух с половиной аршин в длину и никак не более шести вершков в высоту. Она изображала Спасителя, только что снятого со креста. Князь мельком взглянул на нее, как бы что-то припоминая, впрочем не останавливаясь, хотел пройти в дверь. Ему было очень тяжело и хотелось поскорее из этого дома. Но Рогожин вдруг остановился перед картиной.

- Вот эти все здесь картины, - сказал он, - всё за рубль да за два на аукционах куплены батюшкой покойным, он любил. Их один знающий человек все здесь пересмотрел: дрянь, говорит, а вот эта - вот картина, над дверью, тоже за два целковых купленная, - говорит, не дрянь. Еще родителю за нее один выискался, что триста пятьдесят рублей давал, а Савельев, Иван Дмитрич, из купцов, охотник большой, так тот до четырехсот доходил, а на прошлой неделе брату Семену Семенычу уж и пятьсот предложил. Я за собой оставил.

- Да это... это копия с Ганса Гольбейна, - сказал князь, успев разглядеть картину, - и хоть я знаток небольшой, но, кажется, отличная копия. Я эту картину за границей видел и забыть не могу. Но... что же ты...

Рогожин вдруг бросил картину и пошел прежнею дорогой вперед. Конечно, рассеянность и особое, странно-раздражительное настроение, так внезапно обнаружившееся в Рогожине, могло бы, пожалуй, объяснить эту порывчатость; но все-таки как-то чудно стало князю, что так вдруг прервался разговор, который не им же и начат, и что Рогожин даже и не ответил ему.

- А что, Лев Николаич, давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в бога или нет? -- вдруг заговорил опять Рогожин, пройдя несколько шагов.

- Как ты странно спрашиваешь и... глядишь! - заметил князь невольно.

- А на эту картину я люблю смотреть, - пробормотал, помолчав, Рогожин, точно опять забыв свой вопрос.

- На эту картину! - вскричал вдруг князь, под впечатлением внезапной мысли, - на эту картину! Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!

- Пропадает и то, - неожиданно подтвердил вдруг Рогожин.

5) Вот подъехали наконец к какому-то домику со столбом. Домик был белый, но ужасно мне показался грустный. Так что жутко даже стало. (...) Был коридорчик; заспанный человек с пятном на щеке, — пятно это мне показалось ужасным, — показал комнату. Мрачная была комната. Я вошел, — еще жутче мне стало.

(...) Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как, я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой красной... (...) Я взял подушку и лег на диван. Когда я очнулся, никого в комнате не было и было темно. (...) Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? От чего, куда я убегаю? Я убегаю от чего-то страшного, и не могу убежать. (...) Я вышел в коридор, думал уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачило все. Мне так же, еще больше, страшно было. Да что это за глупость, — сказал я себе. — Чего я тоскую, чего боюсь?

«Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут». Мороз подрал меня по коже...

...Еще раз попытался заснуть, всё тот же ужас красный, белый, квадратный.

б) Наши полторы комнаты были частью обширной, длиной в треть квартала, анфилады, тянувшейся по северной стороне шестиэтажного здания, которое смотрело на три улицы и площадь одновременно. Здание представляло собой один из громадных брикетов в так называемом мавританском стиле, характерном для Северной Европы начала века. Законченное в 1903 году, в год рождения моего отца, оно стало архитектурной сенсацией Санкт-Петербурга того времени, и Ахматова однажды рассказала мне, как она с родителями ездила в пролетке смотреть на это чудо. В западном его крыле, что обращено к одной из самых славных в российской словесности улиц — Литейному проспекту, некогда снимал квартиру Александр Блок. Что до нашей анфилады, то ее занимала чета, чье главенство было ощутимым как на предреволюционной русской литературной сцене, так и позднее в Париже в интеллектуальном климате русской эмиграции двадцатых и тридцатых годов: Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. И как раз с балкона наших полутора комнат, изогнувшись гусеницей, Зинка выкрикивала оскорбления революционным матросам.

После революции, в соответствии с политикой «уплотнения» буржуазии, анфиладу поделили на кусочки, по комнате на семью. Между комнатами были воздвигнуты стены — сначала из фанеры. Впоследствии, с годами, доски, кирпичи и штукатурка возвели эти перегородки в ранг архитектурной нормы.

Если в пространстве заложено ощущение бесконечности, то — не в его протяженности, а в сжатости. Хотя бы потому, что сжатие пространства, как ни странно, всегда понятнее. Оно лучше организовано, для него больше названий: камера, чулан, могила. Для просторов остается лишь широкий жест.

7)...Наш потолок, приблизительно четырнадцати, если не больше, футов высотой, был украшен гипсовым, все в том же мавританском стиле орнаментом, который, сочетаясь с трещинами и пятнами протечек от временами лопавшихся наверху труб, превращал его в очень подробную карту некоей несуществующей сверхдержавы или архипелага.

...Станным образом наша мебель оказалась под стать обличью и внутреннему виду здания. Она была так же массивна и перегружена завитками, как штукатурная лепка на фасаде или выступавшие на стенах изнутри пилястры и панно, опутанные гипсовыми гирляндами каких-то геометрических фруктов. И внешний облик, и внутренний орнамент — светло-коричневые, цвета какао с молоком. Наши два огромных собороподобных буфета были, однако, из черного лакированного дуба, но все-таки принадлежали той же эпохе, началу века, как и само здание. Возможно, именно это, хотя и невольно, с самого начала расположило к нам соседей. И возможно, по той же причине, едва проведя в этом здании год, мы чувствовали себя так, как будто жили здесь всегда. Ощущение, что буфеты обрели дом или, может быть, наоборот, как-то дало нам понять, что и мы обосновались прочно, что переезжать нам более не суждено.

Эти трех с половиной метров высотой двухэтажные буфеты (чтобы их сдвинуть, приходилось снимать верхнюю, с карнизом, часть со стоящей на слоновьих ножках нижней) вмещали практически все, накопленное нашей семьей за время ее существования. Роль, отведенную повсеместно чердакам или подвалам, в нашем случае играли буфеты. Различные отцовские фотоаппараты, принадлежности для проявления и печатания снимков, сами снимки, посуда, фарфор, белье, скатерти, обувные коробки с ботинками, которые уже малы ему, но еще велики мне, инструменты, батарейки, его старые морские кители, бинокли, семейные альбомы, пожелтевшие иллюстрированные журналы, шляпы и платки моей матери, серебряные бритвы “Золинген”, испорченные карманные фонарики, его награды, ее разноцветные кимоно, их письма друг к другу, лорнетки, веера, прочие сувениры памяти — все это хранилось в пещерных недрах буфетов, преподнося, когда открываешь дверцу, букет из нафталина, старой кожи и пыли. На нижней части буфета, как на каминной полке, красовались два хрустальных графина с ликерами и покрытая глазурью фарфоровая парочка подвыпивших китайских рыбаков, тянущих свой улов. Мать вытирала с них пыль два раза в неделю.

Задним числом содержимое этих буфетов можно сравнить с нашим коллективным подсознательным; в то время такая мысль не пришла бы мне в голову. По крайней мере все те вещи были частью сознания родителей, знаками их памяти — о временах и местах, как правило, мне предшествующих, об их совместном и отдельном прошлом, о юности и детстве, о другой эпохе, едва ли не о другом столетии.

...Сейчас мне в точности столько лет, сколько было в тот ноябрьский вечер отцу: мне сорок пять, и вновь я вижу эту сцену с неестественной ясностью, словно сквозь мощную линзу, хотя все ее участники, кроме меня, мертвы. Я вижу ее так ясно, что могу подмигнуть капитану Ф. М. ... Не это ли предвиделось уже тогда? Нет ли здесь, в этом перемигивании через пространство почти в сорок лет, какого-то значения, какого-то смысла, ускользающего от меня? Не вся ли жизнь — об этом? Если нет, откуда эта ясность, зачем она? Единственный ответ, приходящий в голову: чтобы то мгновение жило, чтоб оно не было забыто, когда все актеры, меня включая, сойдут со сцены. Возможно, таким образом понимаешь по-настоящему, каким драгоценным оно было — воцарение мира. В одной семье. И чтобы попутно выяснилось, что такое мгновение. Будь то возвращение чьего-то отца, вскрытие ящика.

...Самым крупным предметом нашей обстановки, или, правильнее сказать, предметом, занимавшим больше всего места, была родительская кровать, которой, полагаю, я обязан моей жизнью. Она представляла собой громоздкое двуспальное сооружение, чья резьба опять-таки соответствовала в какой-то мере всему остальному, будучи, впрочем, выполнена в более поздней манере. Тот же растительный лейтмотив, разумеется, но исполнение колебалось где-то между модерном и коммерческой версией конструктивизма. Эта кровать была предметом особой гордости матери, ибо она купила ее очень дешево в 1935 году, до того, как они с отцом поженились, присмотрев ее и подобранный к ней в пару туалетный столик с трельяжем во второразрядной мебельной лавке. Большая часть нашей жизни тяготела к этой приземистой кровати, а важнейшие

решения в нашем семействе бывали приняты, когда втроем мы собирались не вокруг стола, но на ее обширной поверхности, со мной в изножье.

По русским меркам эта кровать была настоящей роскошью. Я часто думал, что именно она склонила отца к женитьбе, ибо он любил понежиться в этой кровати больше всего на свете. Даже когда их обоих настигал приступ горчайшего обоюдного ожесточения, большей частью спровоцированного нашим бюджетом (“У тебя просто мания спускать все деньги в гастрономе! — несется его негодующий голос над стеллажами, отгородившими мою “половину” от их “комнаты”. “Я отравлена, отравлена тридцатью годами твоей скарредности!” — отвечает мать), — даже тогда он с неохотой выбирался из кровати, особенно по утрам. Несколько человек предлагали нам очень приличные деньги за эту кровать, которая и впрямь занимала слишком много места в нашем жилище. Но сколь бы неплатежеспособны мы ни оказывались, родители никогда не обсуждали такую возможность. Кровать была очевидным излишеством, и я думаю, что именно этим она им и нравилась.

Помню их спящими в ней на боку, спина к спине, между ними — заливчик смятых одеял. Помню их читающими там, разговаривающими, глотающими таблетки, борющимися по очереди с болезнями. Кровать обрамляла их для меня в наибольшей безопасности и наибольшей беспомощности. Она была их личным логовом, последним островком, собственным, неприкосновенным ни для кого, кроме меня, местом во вселенной. Где б она сейчас ни стояла, она выглядит как пробоина в мироздании. Семь на пять футов пробоина. Кровать была светло-коричневого полированного клена и никогда не скрипела.

...Два зеркальных шкафа и между ними проход — с одной стороны; высокое зашторенное окно точно в полуметре, над коричневым, довольно широким диваном без подушек — с другой; арка, заставленная до мавританской кромки книжными полками — сзади; заполняющие нишу стеллажи и письменный стол с “ундервудом” у меня перед носом — таков был мой *Lebensraum*. Мать убирала его, отец пересекал взад-вперед по пути в свой закуток; иногда он или она находили убежище в моем потрепанном, но уютном кресле после очередной словесной стычки. В остальном эти десять квадратных метров принадлежали мне, и то были лучшие десять метров, которые я когда-либо знал. Если пространство обладает собственным разумом и ведает своим распределением, то имеется вероятность, что хотя бы один из тех десяти метров тоже может вспоминать обо мне с нежностью. Тем более теперь, под чужими ногами.

...Или вот еще ключ, выброшенный на поверхность моего сознания: продолговатый, из нержавеющей стали ключ, плохо приспособленный для наших карманов, но хорошо помещавшийся в сумке матери. Ключ открывал нашу высокую белую дверь, и не понимаю, почему я вспоминаю о нем сейчас, когда места этого больше нет. Не думаю, что здесь скрыта некая эротическая символика, ибо он существовал у нас в трех экземплярах. Если на то пошло, мне непонятно, почему я вспоминаю морщины на отцовском лбу и подбородке или красноватую, слегка воспаленную левую щеку матери (она называла это вегетативным неврозом), ибо ни этих черт, ни их носителей больше нет на свете. Только их голоса в целостности и сохранности живут в моем сознании: потому, наверное, что в моем голосе перемешаны их голоса, как в моих чертах — их черты. Остальное — их плоть, их одежда, телефон, ключ, наше имущество и обстановка — утрачено и никогда не вернется, как будто в полторы наши комнаты угодила бомба. Не нейтронная бомба, оставляющая невредимой хотя бы мебель, но бомба замедленного действия, разрывающая на клочки даже память. Дом еще стоит, но место стерто с лица земли, и новые жильцы, нет — войска оккупируют его: таков принцип действия этой бомбы. Ибо это война замедленного действия.

Владислав Ходасевич

Баллада

Сижу, освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей.
Смотрю в штукатурное небо
На солнце в шестнадцать свечей.

Кругом — освещённые тоже,
И стулья, и стол, и кровать.
Сижу — и в смущеньи не знаю,
Куда бы мне руки девать.

Морозные белые пальмы
На стёклах беззвучно цветут.
Часы с металлическим шумом
В жилетном кармане идут.

О, косная, нищая скудость
Безвыходной жизни моей!
Кому мне поведать, как жалко
Себя и всех этих вещей?

И я начинаю качаться,
Колени обнявши свои,
И вдруг начинаю стихами
С собой говорить в забытьи.

Бессвязные, страстные речи!
Нельзя в них понять ничего,
Но звуки правдивее смысла
И слово сильнее всего.

И музыка, музыка, музыка
Вплетается в пенье моё,
И узкое, узкое, узкое
Пронзает меня лезвиё.

Я сам над собой вырастаю,
Над мёртвым встаю бытиём,
Стопами в подземное пламя,
В текучие звёзды челом.

И вижу большими глазами —
Глазами, быть может, змеи, —
Как пению дикому внемлют
Несчастные вещи мои.

И в плавный, вращательный танец
Вся комната мерно идёт,
И кто-то тяжёлую лиру
Мне в руки сквозь ветер даёт.

И нет штукатурного неба
И солнца в шестнадцать свечей:
На гладкие чёрные скалы
Стопы опирает — Орфей.

9—22 декабря 1921